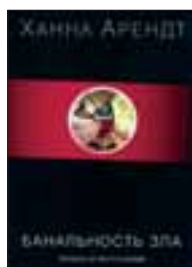


# Душа нацистского почтальона

Сергей Соловьев



Ханна Арендт. *Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме*. М.: Европа, 2008. 424 с.

Недавно мой друг ехал в метро и читал книгу немецкого историка Клаудии Кунц под названием «Совесь нацистов». Внезапно сидевшая рядом интеллигентная дама средних лет обратилась к нему с гневным замечанием: «Молодой человек, как вам не стыдно брать в руки такие книги!» Другу удалось оправдаться — с трудом. Конечно, исследование Кунц вовсе не содержит никакой пропаганды нацизма, и даже напротив, — но такую реакцию следует признать вполне закономерной. Действительно, в сознании любого нормального человека слова «совесь» и «нацист» несовместимы. Между тем совесь у нацистов все-таки была. И этот факт представляет собой этическую, политическую и научную проблему.

Именно эта проблема была главной для Ханны Арендт, когда она отправилась в Иерусалим в качестве обозревателя журнала «The New Yorker» освещать знаменитый процесс Адольфа Эйхмана. Арендт к тому времени уже была известна как автор «Истоков тоталитаризма» и ряда эссе, но книга «Эйхман в Иерусалиме» внесла наибольший вклад в политическую философию идеей, поставленной Арендт в подзаголовок — «банальность зла»<sup>1</sup>.

Объект книги — Адольф Эйхман — в годы войны был оберштурмбанфюрером (подполковником) СС и заведовал в РСХА (Главном управлении имперской безопасности, объединявшем все карательные службы нацистской Германии) отделом IV-B-4. Этот отдел занимался организацией «окончательного решения еврейского вопроса». После войны Эйхману — как и многим другим эсэсовцам — удалось ускользнуть в Латинскую Америку. В 1960 г. он был выслежен израильскими спецслужбами в Аргентине, что, как подчеркивает Арендт, не составляло особого труда: нельзя сказать, что Эйхман особо тщательно соблюдал конспирацию. В Иерусалиме состоялось следствие и процесс, привлечший к себе внимание немногим меньше, чем Нюрнбергский. Суд после долгого разбирательства вполне ожидаемо приговорил Эйхмана к повешению. Но что увидел мир на суде?

Существует стереотипное восприятие книги Арендт: мол, она показала преступления нацистов как работу безликих чиновников-исполнителей, клерков, которые без всякого фанатизма творили свои преступления, просто подчиняясь приказам. Но этот стереотип скрадывает самую суть идеи Арендт. На самом деле, проблема не только в том, *какие люди* совершали преступления, и уж тем более — не в том, какую ответственность они за это должны нести.

Главный вопрос книги и главный смысл процесса был, как пишет Арендт, вовсе не юридический: «Сколько времени требуется обыкновенному человеку, чтобы подавить свое врожденное отвращение к преступлению, и что именно происходит с ним, когда он достигает перелома <...>. И вряд ли какое иное

<sup>1</sup> Издатели русского перевода поменяли местами название с подзаголовком оригинала, с моей точки зрения, вполне оправданно.

...то, кроме дела Адольфа Эйхмана, может дать на этот вопрос ответ, более ясный и недвусмысленный» (с. 151). Ответить на этот вопрос фактически означало решить проблему причин массовости фашизма.

Ханна Арендт с первых страниц книги настолько резко отзывается о пафосе эйхмановского процесса, что поначалу читатель (если он не знал раньше ее взглядов) может заподозрить: уж не собралась ли Арендт занять позицию «над схваткой»?

Все ее претензии связаны с тем, что идеологический заказ израильского правительства мешал установлению истины — не столько юридической (ведь приговор Эйхману не вызвал сомнений ни у кого, кроме неонацистов или категорических противников смертной казни!), сколько исторической и, следовательно, моральной.

Израильское правительство использовало процесс для обвинения ряда арабских религиозных и политических лидеров в сотрудничестве с нацистами. Но ни слова осуждения не было брошено против аденауэровской ФРГ, где высокопоставленные нацисты остались в правительственном аппарате, в юридической системе и политике, хотя Кнессет под влиянием дела Эйхмана — и вопреки правительству, как ехидно отмечает Арендт, — все-таки приостановил программу сотрудничества.

Но дело было не только в обычном политиканстве, которое, правда, по отношению к трагедии холокоста выглядело особенно циничным. С точки зрения Арендт, премьер Бен-Гурион и следовавшее его указанием обвинение стремилось направить процесс против одного человека — «выродка-убийцы», который лично принимал решения, вдохновляя, якобы, даже Гиммлера и Гитлера. Обвинение — тщательно — пыталось доказать его личное участие в убийствах: от справки над еврейским мальчиком в Венгрии до ужасов «работы» айнтзацгрупп, которым этот чиновник на самом деле не имел права отдавать приказы. И «чем полнее раскрывалась панорама „катастрофы, постигшей еврейский народ этого поколения“, чем пламеннее звучала риторика господина Хаузнера [обвинителя], тем бледнее и прозрачнее становилась заключенная в стеклянную будку фигура, и даже крик и жест указующий: „Вот оно, чудовище, это все сотворившее!“ — не могли вернуть ее к жизни» (с. 22).

На самом деле, акцент на личной вине Эйхмана в уничтожении половины европейского еврейства послужил поводом обойти, с точки зрения Арендт, самое главное. «Обвинение тщательно избегало самого взрывоопасного вопроса — вопроса о почти поголовном соучастии

в преступлении всего народа» (с. 36).

И здесь парадоксальным образом позиция израильского обвинения смыкалась с официальной идеологией аденауэровской Германии, согласно которой «лишь относительно малый процент немцев числился среди членов нацистской партии», а «большинство населения по мере возможности старалось помочь своим согражданам-евреям» (с. 35). Такие выводы сделало большинство немцев из Нюрнбергского процесса, так же подавался и процесс Эйхмана в Иерусалиме.

«Проблема с Эйхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами — они были и есть ужасно и ужасающе нормальными» (с. 41). И действительно: и командиры четырех айнтзацгрупп, уничтожавших евреев, цыган, коммунистов на советской территории, и сотрудничавшие с ними, а также проявлявшие собственную инициативу генералы вермахта, и начальники лагерей смерти, и сам Эйхман — добропорядочный семьянин, как и его начальник — Гиммлер, — все они были *нормальными* людьми. Обывателями — и даже с претензиями на интеллектуальность.



Иван Дмитриев. Ветка. 2000. Холст, масло

И этому самому Эйхману, который направлял поезд со всей Европы в Трешлинку и Освенцим, педантично вникал в сложности депортации, исследовал «пропускную способность» газовых камер и печей крематориев, — этому Эйхману становилось плохо до обморока при виде расстрелов, рвов с убитыми и работы душегубок в Минске и Львове. Он был искренне благодарен коменданту Освенцима Рудольфу Гессу за то, что тот не настаивал на его присутствии при «спецобработках».

Как же возникла эта странная «совесть» таких обычных людей?

Арендт не дает прямого ответа в книге — эссеистический стиль не позволяет. Но в описаниях карьеры Адольфа Эйхмана и хода самого процесса перед нами возникает убедительная картина производства аморализма в Третьем рейхе.

Но прежде стоит подчеркнуть: Арендт со всей ясностью показывает, что зверства гитлеровцев были не «эксцессами исполнителей», а диктовались «целесообразностью». На языке нацистских канцелярий о концентрационных лагерях говорилось как о вопросе «административном», а о лагерях смерти — как об «экономическом» (с. 112). Функционеры СС сознательно «отгораживались от „эмоциональных“ персонажей вроде патологического фанатика-антисемита Штрейхера, <...> а также „от тех партийных шишек,

которые казались себе облаченными в рогатые шлемы и звериные шкуры тевтонскими героями»». С другой стороны, существование редактируемого им еженедельника «Штурмовик» также было «целесообразно» — для некоторой части населения достаточно было и такой незатейливой пропаганды. «Целесообразность» — вот главное слово.

Вообще анализ языка нацистов становится для Арендт одним из главных способов пробраться к совести Эйхмана. Арендт показывает, что откровенные слова о происходящих репрессиях практически не использовались ни в повседневной речи, ни в документах. Вместо убийств употребляли слова «депортация», «специальная обработка», «принудительное переселение», «наряд на работу на Востоке». «Смысл такой языковой системы заключался не в том, чтобы исполнители не понимали, чем им следует заниматься, а в том, чтобы отучить их сравнивать „языковые нормы“ с их прежним, „нормальным“ пониманием того, что есть убийство и что есть ложь» (с. 138–139). Эта языковая система настолько проникла в сознание немцев, что даже защитник Эйхмана в диалоге с судом назвал умерщвление газом, стерилизацию и создание, по поручению Гимmlера, коллекции скелетов из живых людей — «медицинскими процедурами»! В ответ на недоумение пораженных судей, д-р Сервациус пояснил: «Это была процедура умерщвления, а умерщвление же является и медицинской процедурой» (с. 113).

В этой связи Арендт напоминает, что убийство газом подавалось как «гуманный метод», «гарантирующий людям милосердную смерть» еще со времен программы эвтаназии в Германии, когда с помощью угарного газа убивали душевнобольных. Но уничтожение немецких граждан вызывало протесты родственников, людей, «которые еще не усвоили „целесообразные“ взгляды на суть медицины». Поэтому в Германии программа была прекращена, но зато ее реализация в огромных масштабах началась на Востоке — в Польше, а затем и в СССР (с. 163). Это уже протестов в Германии не вызвало. А сам Эйхман настолько хорошо усвоил этот нацистский новояз, что даже стоя перед судом, он искренне продолжал считать, что «не убийство является непροстителыным грехом, а причинение ненужной боли» (с. 164).

С помощью подобных клише создавалось нацистское лицемерие, которое Арендт называет главной характеристикой режима. Но, наверное, точнее это было бы назвать оруэлловским словом «двоемыслие». Использование этих штампов приводило — в случае Эйхмана — к тому, что он попросту забывал многие факты. Дело было как минимум не только в том, что он не помнил фактов, неприятных для себя, — такая «забывчивость» была бы понятна. Но он вообще очень легко забывал все то, что не отмечалось высокопарными фразами и не подкреплялось соответствующим «клише». Так, он не помнил дату начала войны против СССР, содержание разговоров на Ванзейской конференции, а также деталей своей собственной деятельности во время командировок — за исключением встреч с «приятными» людьми.

Эйхман признается, что «бюрократический стиль — это единственный доступный мне язык». Он мыслит с помощью клише и терять в себе уверенность, когда не может их найти, что еще больше дополняет его портрет «мелкой сошки». «У моего клиента душа почтальона», — говаривал его адвокат д-р Сервациус еще до начала процесса. Но важнее всего то, что, как указывает Арендт, с помощью язы-



Иван Дмитриев. Аллегория. 1995. Холст, масло

ка (добавим — мифов, воплощенных в языке) сам Эйхман и все «немецкое общество, состоявшее из 80 млн человек, также было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета». Практика самообмана превратилась в моральную предпосылку выживания настолько, что даже через 18 лет после падения нацистского режима Арендт утверждает: «Трудно не думать, что лицемерие стало составной частью немецкого национального характера» (с. 86–87).

И здесь наблюдения Арендт полностью совпадают с идеей замечательной книги немецкого филолога еврейского происхождения Виктора Клемперера, чудом пережившего нацистскую диктатуру. Книга «ЛГ1. Язык Третьего рейха»<sup>1</sup> по идеологическим причинам была опубликована на Западе только в 1994 году (Клемперер остался в ГДР, где книга вышла еще в 1947), и Арендт вряд ли могла ее знать. Но именно Клемперер блестяще показал с помощью филологического анализа (и Арендт повторяет его почти дословно), как рождается и функционирует «язык, который сочиняет и мыслит за тебя», как бездумно повторяемые

<sup>1</sup> КЛЕМПЕРЕР В. ЛГ1. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М.: Прогресс-Традиция, 1998.





клише «приобретают над нами власть»<sup>1</sup>. Вообще, о «власти, растворенной в языке», много писали почти все постструктуралисты начиная с Фуко и Барта, но в отличие от них Клемперер на самом деле наглядно показывает механизм конструирования этой власти, используя свой великолепный научный филологический инструмент и отрефлексированный тяжелейший личный опыт. Арендт демонстрирует работу этой власти языка в сознании отдельного, так сказать, человека — Адольфа Эйхмана.

Но, конечно, этот клишированный способ мышления формировался в определенном историческом контексте.

На Ванзейской конференции, которая была призвана скоординировать все усилия по «окончательному решению», Эйхмана, по его словам, еще одолевали сомнения. Но тут он увидел, что не только нацистские боссы, не только партия и СС, но и «элита старой доброй государственной службы сражалась за честь возглавить этот кровавый процесс. „В этот момент я почувствовал то, что чувствовал Понтий Пилат, я был свободен от вины“. Ну кто он такой,

чтобы осуждать? Ну кто он такой, чтобы „иметь свое собственное мнение по этому делу“?» (с. 172).

Эйхман искренне считает, что главная «добродетель» — это выполнение долга перед государством. Он гордится хорошим исполнением этого долга, и эта гордость не исчезает даже при допросах. Он почти хвастается своей ролью в отлаживании «эмиграции евреев» (на самом деле: выкидывании из страны полностью ограбленных людей) и в организации «депортаций» (на самом деле, отправки людей в лагерь смерти). Зато его совесть оскорбляет попытка Гимmlера перед крахом нацизма ослабить маховик репрессий, и ценой еще не уничтоженных венгерских евреев купить себе право на участие в переговорах с Западом. Потому Эйхман стремится саботировать эти приказы. Как подчеркивает Арендт, «несгибаемость и бескомпромиссность Эйхмана в последний год войны были продиктованы не фанатизмом, а как раз его совестью» (с. 220).

Мораль мелкого буржуа, принимавшего за патриотизм подчинение государству, а за мораль — мнение добропорядочного общества, его лицемерие и ханжество не раз становились поводом для размышлений еще в XIX веке. Но нацизм довел моральную логику обывателя до предела, до абсолюта, и тогда на свет родился «категорический

императив Третьего рейха», сформулированный Гансом Франком: «Поступай так, чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, мог тебя за них похвалить». Интересен тот факт, что многие интеллектуалы приняли фашизм за опровержение «буржуазной морали», в то время как он был ее квинтэссенцией, ее ярчайшим выражением. В результате совесть в обычном понимании сменилась на свою противоположность: «Вместо того, чтобы сказать: „Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!“, убийца мог воскликнуть: „Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!“» (с. 160). Оправданием такому извращению служила война якобы «за выживание нации», которая была призвана оправдать все.

В итоге же «совесть как таковая в Германии явно куда-то пропала, причем настолько бесследно, что люди о ней почти и не вспоминали и не могли даже представить, что внешний мир не разделяет этот удивительный „новый порядок немецких ценностей“» (с. 158). В доказательство этого тезиса Арендт отмечает, что даже заговорщики 20 июля в большинстве выступили не против Гитлера-убийцы, а против Гитлера-неудачника; он их не устраивал потому, что не сумел добиться успеха в войне. Потому же сам Гимmlер, Лей и прочие нацистские бонзы бредили возможностью переговоров с союзниками, «комитетами примирения» с евреями — идеологический обман обязательно порождает самообман.

Однозначно осудив немецкий национализм, Арендт не может не заметить идеологию национальной исключительности и у евреев. Отсюда вытекает и ее главная претензия к организаторам процесса. Арендт отмечает, что исключительность преступлений нацистов не была понята на процессе и, более того, не была понята еврейским народом. «Он [Освенцим] предстал перед обвинением и судьями не более чем большим чудовищным погромом в еврейской истории» (с. 399), просто продолжающим линию от раннего христианского антисемитизма к Освенциму. Процесс над Эйхманом и был призван, по мысли организаторов, продемонстрировать «вечную и вездесущую природу антисемитизма», это убеждение стало «идеологическим фактором сионистского движения со времен дела Дрейфуса». Эта позиция не устраивает Арендт по двум причинам. Во-первых, таким образом скрадывается тот факт, что преступления нацистов были не просто преступлениями против конкретных народов: евреев, поляков, русских и т. д. Запланированное фабричное уничтожение наро дов является преступлением против человечности как таковой, и именно поэтому, по мнению Арендт, судить Эйхмана должен был бы международный трибунал. Во-вторых, с точки зрения Арендт, именно убежденность в том, что «все неевреи одинаковы», привела к готовности руководства еврейских общин и сионистских деятелей вступать в переговоры с нацистами — и в книге приводится масса примеров подобного «сотрудничества». В результате «для евреев роль еврейских лидеров в уничтожении их собственного народа, несомненно, стала самой мрачной страницей в и без того мрачной истории». Националистическая сионистская политика способствовала изоляции евреев от остального населения, чем облегчала задачи гитлеровцев. Сионистские лидеры видели в деятельности Гитлера поначалу всего лишь подтверждение поражения сторонников ассимиляции и считали, что теперь легче будет обеспечить эмиграцию в Палестину. И даже когда ошибка стала очевидной,

<sup>1</sup> Там же. С. 40.

самый разгар террора, лидеры еврейских общин стремились спасти «наиболее достойных». Арендт приводит чудовищную статистику: «Доктору Кастнеру в Венгрии удалось спасти ровно 1684 человека за счет примерно 476 тысяч» (с. 178). И если точность этих цифр, как и некоторых других конкретных деталей, еще может вызывать сомнения, то общий вывод — вряд ли. Еврейские лидеры знали об уничтожении, но молчали «из гуманных соображений», ради порядка — тем самым облегчая работу палачам. И Арендт приходит к выводу: «Если бы еврейский народ действительно был неорганизован и у него не было бы вожаков, тогда воцарился бы хаос и было бы множество великих страданий, но общее число жертв вряд ли бы тогда составило от четырех с половиной до шести миллионов человек».

Вместе с вопросом о моральных истоках нацизма в книге Арендт постоянно поднимается вопрос об ответственности — нет, не Эйхмана, с которым все ясно с самого начала, а о принципах установления виновности. Понятное дело, что все жалкие сказочки битых коричневых диктаторов и их подчиненных на тему «я только выполнял приказ», которые рассказывались в Нюрнберге, не могут восприниматься сколько-нибудь серьезно. Они сами отдавали эти приказы, прекрасно осознавали их преступность и сознательно сделали выбор — а он у них был — и в экзистенциальном, и в практическом смысле. Эйхман говорил, что единственной альтернативой исполнению преступных приказов и участию в массовых убийствах было самоубийство, но это — прямая ложь. Арендт приводит пример офицера, который не пострадал, отказавшись служить нацистам, аналогичные примеры приводил Ясперс, такие случаи знакомы историкам. Но эти случаи уклонения не стали массовыми. И придется признать правоту американского историка: «Не бездумное повиновение, но осознанное приятие — вот что характеризовало немецкий стиль сотрудничества со злом»<sup>1</sup>. Фактически соглашаясь с этим, Арендт противоречит своему же выводу в «Истоках тоталитаризма», где она утверждала, что немцы были запуганы и подавлены пропагандой. А современные историки добавляют: у этой массовой моральной слепоты была материальная основа: немцы на самом деле в подавляющем большинстве получали выгоду от нацистских грабежей и «ариизации» собственности. Так что принятие клише было не столько насильственным, сколько добровольным<sup>2</sup>. И потому абсолютно справедлив был вывод учителя Ханны Арендт — Карла Ясперса: «Каждый из нас несет вину, поскольку он оказался бездеятелен».

Напоследок придется обратить внимание на сопроводение книги: аннотацию и предисловие, — настолько сильно они контрастируют с самим текстом Арендт. В ан-

нотации читаем: «Запад упорно старается „приватизировать“ тему преступлений против человечности, используя Гаагский трибунал <...> Именно дотошность Ханна Арендт, тщательно анализирующей не только ход процесса над Эйхманом, но и все юридические ловушки на пути к известному результату этого процесса над воплощением обыденности абсолютного зла, составляет основную ценность этой монографии». Эту фразу бесполезно оспаривать и комментировать. Создается впечатление, что автор аннотации либо книгу не читал вовсе, либо равным счетом ничего в ней не понял. Очевидно, целью было просто приурочить издание

книги о холокосте к современному идеологическому заказу, что вышло предсказуемо топорно и, кроме того, совершенно противно духу и книги, и ее автора, не терпевшего использования этических проблем для нужд «актуальной политики» — именно за это, как было показано выше, она и обрушилась на позицию обвинения на процессе. Между тем своевременность книги Арендт доказать очень просто. Мо-

раль мелкого буржуа, мораль обывателя никуда не делась. Национализм отнюдь не выброшен на свалку истории. А значит, и новое появление эйхманов остается актуальной возможностью.

Однако послесловие выглядит еще более странным. Видимо, в целях политкорректности издатели включили в книгу 5 страничек, написанных доктором Эфраимом Зуроффом, директором израильского отделения Центра Симона Визенталя. Следуя официальной позиции Израиля, она обрушивается на Арендт за «пренебрежение к жертвам холокоста, к государству Израиль» и «сочувствие к Эйхману», а также за якобы ложные утверждения о сотрудничестве лидеров еврейских общин с нацистами. В последнем пункте г-н Зурофф спорит против очевидности — существует масса исследований и воспоминаний, в том числе изданных в Израиле. Что до остального, то Арендт, как было показано, нисколько не преуменьшает трагедии тем, что показывает Эйхмана «мелким человечешкой», честолобивым бюрократом, неспособным даже на проблески оригинального мышления, — напротив, она именно в этом и видит чудовищность нацизма. Кто-то из российских рецензентов книги, как и г-н Зурофф, умудрился увидеть у Арендт сочувствие к Эйхману. Нет, она просто не относится к нему как человеку, он — в силу содеянного — перестал быть человеком: «Так как вы поддерживали и проводили политику нежелания жить на одной земле с еврейским и целым рядом других народов <...>, — мы находим, что никто, то есть ни один представитель рода человеческого, не желает жить на одной земле с вами. Единственно по этой причине вас и следует повесить». И из блокадного Ленинграда Ханне Арендт вторит Лидия Гинзбург: «У зажатых печи Освенцима и у всех им подобных нет психологии; дом их не потрясает несчастья, у них не умирают дети. Они — чистая историческая функция, которую следует уничтожить в лице ее конкретных носителей». ■



Егор Дмитриев. Маяк. 2005. Холст, масло

<sup>1</sup> Кунц К. *Совесть нацистов*. М.: Ладомир, 2008. С. 33.

<sup>2</sup> См. об этом: Götz A. *Hitlers Volkstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus*. Frankfurt am Main, 2005.